

# ЮНОСТЬ

12<sup>(427)</sup> '90



ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В 1955 ГОДУ

Главный редактор  
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:  
Анатолий АЛЕКСИН  
Татьяна БОБРЫНИНА  
Борис ВАСИЛЬЕВ  
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ  
Натан ЗЛОТНИКОВ  
Фазиль ИСКАНДЕР  
Римма КАЗАКОВА  
Кирилл КОВАЛЬДЖИ  
Олег КОКИН  
Александр ЛАВРИН  
Виктор ЛИПАТОВ  
(заместитель главного редактора)  
Игорь ОБРОСОВ  
Мария ОЗЕРОВА  
Юрий ПОЛЯКОВ  
Виктор РОЗОВ  
Юрий САДОВНИКОВ  
(ответственный секретарь)  
Александр СЕРЕБРОВ  
Евгений СИДОРОВ  
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Игорь ВОЛГИН

## ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ

(К урокам одного  
политического процесса)

Писатель Андрей Донатович Синявский лично мне обошелся в копейку.

Уже сторговав на Кузнецком у знакомого книжного доставал только что вышедший в Большой серии «Библиотеки поэта» синий том Пастернака и предвкушая радость обладания, я был огорошен неожиданной вестью, что заранее обговоренная цена (надо ли добавлять — немалая) выросла чуть ли не вдвое. Это было нарушением правил, принятых между людьми порядочными, хотя и склонными — ввиду тиражной недееспособности государства — к подобным, не вполне одобряемым законом, негодиям.

Дело, однако, разъяснилось. Сначала слухи, а затем последовавшее вскоре их официальное подтверждение восстановило пошатнувшуюся было репутацию черного рынка. Автор предисловия к пастернаковскому тому, Андрей Синявский, вместе с другим литератором — Юлием Даниэлем были изъяты из числа наслаждающихся свободой граждан, и их дело предавалось рассмотрению Верховного суда. В свете этих событий Борис Пастернак, чье собственное не столь давнее дело было еще «притчей на устах у всех», незамедлительно вырос в цене.

«Цена метафоры» — так называется книга, где, помимо фактов, связанных со знаменитым процессом, впервые в нашей стране опубликованы тексты, ставшие в феврале 1966 года предметом уголовного интереса.

Но, прежде чем толковать о словесности, поговорим об отдельных словах.

«Враги коммунизма не брезгливы. С каким воодушевлением сервируют они любую «сенсацию», подобранную в задворках антисоветчины!» — этим зловещим пассажем начиналась статья Д. Еремина «Перевертыши», опубликованная в «Известиях» и призванная задать тон грядущему народному гневу.

Итак, ограничимся словарем:

«нищие духом оборотни», «предельное нравственное падение», «бездонное болото мерзостей», «грязные помои клеветы», «иудины перья», «выстрелы в спину народа», «нравственные уроды», «подонки» и, наконец, уже почти вселенское «брызжут ядом на все передовое человечество», — я, любезный читатель, выписал далеко не все.

Таковы были лексика, официальный бандитский сленг, большой джентльменский набор государственной публицистики, чье привычное одушевление по своему архетипу мало чем отличалось от громокипящих призывов 1937 года, разве что с исключением требований немедленно расстрелять обвиняемых «как бешеных псов». (Об этой упущенной возможности один выдающийся писатель намекнет несколько позже.)

Мистика состоит в том, что звуковой образ этой статьи был предвосхищен ровно за десять лет до ее появления в повести А. Терца (А. Синявского) «Суд идет», где квинтэссенция речи одного персонажа выглядит так:

«Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля». М., «Книга», 1989.

«— Объективно. Логика борьбы. Колесо истории. Агенты империализма. Вспять. Кто не с нами. Окружение. В одной стране. Поистине. Объективно.

Она (героиня повести.— И. В.) подавленно молчала.

— Рьянцы, контр, ксизм-сизм-сизм.

Нцип, нцип.

Ъектив.

Гуманюция. Pferd!»

Слог! О, бесподобный, незабываемый, ни на что не похожий слог советской эпохи! Вдохновенно путающий падежи, он удачно сочетал торжественный книжный пафос с мощным кухонно-бранным подтекстом, еле удерживаясь при этом, чтобы не соскользнуть в чистосердечный мат. Это был язык цветов, внятный лишь посвященным. Легкой подвижкой акцентов он сулил благоволение и немиловость. Он заключал в презрительные кавычки какое-нибудь сомнительное слово (например, «либеральный») либо привешивал к нему — в виде идеологического грузила — приставку «лже» или «псевдо». Он, наконец, просто *давал понять*.

В 1966 году все эти пленительные эвфемизмы значили для интеллигентного уха только одно: вранье. Еще в глаза не видав ни единой строчки Аржака или Терца, искушенный российский читатель мог извлечь в их пользу сильнейшее из доказательств — от противного.

Между тем большинство из нас не ведало о том, что Международный ПЕН-клуб спешил довести свое потрясение, вызванное арестом коллег, до сведения отнюдь не потрясенного этой вестью Союза писателей, что датские литераторы обращались к «Ее Превосходительству Екатерине Алексеевне Фурцевой» с покорнейшей просьбой употребить свое благотворное влияние в инстанциях, «от которых зависит освобождение наших товарищей по перу» (вечный наив путающегося в советских реалиях западного интеллигента!). Франсуа Мориак, Альберто Моравиа, Пьер Эмманюэль, Генрих Бёлль, Сол Беллоу, Артур Миллер, Грэм Грин и десятки других неслабых имен значились под напечатанным в «Таймсе» письмом, где выражалась надежда, что «Советское правительство не останется равнодушным к голосу мировой общественности».

У названного правительства, однако, отношение к «мировой общественности» было весьма специфическое.

Василий Васильевич Розанов рассказывает в «Уединенном», как обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев на слова: «Это вызовет дурные толки в обществе», — остановился и — не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше».

Нет, не все традиции в России оказались утраченными: натурально, протесты были оставлены без ответов.

Но если так обращались со знатными иностранцами, стоит ли говорить о своих? Напрасно Лидия Чуковская и Владимир Корнилов в своем письме в «Известия» (тогда, разумеется, не опубликованном) мягко указывали всесоюзной газете, что «наносить публичные оскорбления людям, которые в данную минуту находятся в тюрьме и лишены возможности ответить, неблагоприятно, низко». Напрасно Александр Гинзбург, обращаясь к премьеру А. Н. Косыгину, слезливо замечал, что сам факт рождения обвиняемых в Советском Союзе «еще не отнимает у них права на самостоятельность мышления». Напрасно Ирина Роднянская высказывала опасение (полностью потом оправдавшееся), что в атмосфере поднявшейся травли будущая судебная процедура «не более, чем пустая формальность». Все это было напрасно. Авторы упомянутых писем и еще несколько интеллигентов-одиночек, отважившихся на эпистолярный протест (да не забудутся их имена!), могли бы не беспокоиться. Начальство осталось верным себе — «и на челе его высоком не отразилось ничего».

И все же... В 1958 году, когда разворачивалась история с Пастернаком, открытое, гласное выступление в защиту уничтожаемого поэта представлялось немислимым. В лучшем случае можно было не примыкать к негодующему большинству. Спустя восемь лет, в 1966-м, несогласие было высказано явно, твердо, с неотразимой убежденностью. Это свидетельствовало о тектонических сдвигах в недрах самой системы. Слабые толчки еще не угрожали ее державной неподвижности, но источник этой подземной энергии был неистощим.

Все это, повторяю, происходило незримо для публики. На поверхности же — в полном соответствии с жанром — раскручивался знакомый «пастернаковский» боевик. Народные поэты братских республик и руководители музыкальных театров, безвестные агрономы и именитые главные режиссе-

ры — все они спешили публично заклеить двух «отвратительных клеветников» и их «пошлые, омерзительные писания», которых они, разумеется, не читали.

В еще не опубликованной у нас книге А. Синявского «Голос из хора» (она создавалась во время пребывания ее автора в мордовских лагерях) есть замечательный диалог:

«Судья спрашивает: зачем же вы, свидетельница, показываете на человека, что он стрелял, когда вы сами не видели, да и вообще вас не было в это время?»

Старушка отвечает:

— А я думала, мне пенсию дадут».

Не хочется верить, что люди, которые позволили использовать свое имя в печати (ведь не сами же они бежали на почту!), исходили из аналогичных соображений. «Пенсия» у них уже была (правда, ее могли отобрать). Я думаю, здесь действовал иной закон. Нельзя было сомневаться в моральной правоте государства. Если даже оно, государство, в чем-то и заблуждалось, эти частные неувязки были следствием некомпетентности конкретных лиц и искупались той высшей целью, ради которой стоило пожертвовать всем остальным. Но в таком случае отдельная личность должна была отказать от своего морального суверенитета. Государство своей милостью освобождало человека от этого, часто невыносимого, груза. Оно само осуществляло нравственный выбор, великодушно дозволяя остальным присоединиться к нему. И мы присоединялись — наша духовная самодисциплина была выше всяких похвал.

Цель была прекрасным языческим божеством, алчущим приношений.

«— Нельзя допустить, чтобы... Всему миру известно. Либо — либо. Пусть. Марксизм, нигилизм, наплевизм. Фракция, акция. Левацкий загиб, правый уклон. Сугубо. Требуя жертв. Великой цели. Во имя. Цель, цель, цель» («Суд идет»).

«Цели мы не знаем, — говорит восточный философ. — Позаботьтесь о средствах, цель же позаботится о себе сама».

Нельзя сказать, будто мы и раньше не догадывались, что средства нехороши. Но дело Синявского и Даниэля разревало последние иллюзии шестидесятых годов. Эпоха завершилась, оставив в душе растерянность, недоумение, горечь.

Мы были последними романтиками советской эпохи.

Я хорошо помню смерть Сталина не только в силу грандиозности события, но и потому, что он умер 5 марта, а 6-го мне, юному пионеру, исполнилось одиннадцать лет. И хотя в большинстве из нас успела-таки побродить эта закуска, нам все же повезло: мы ухитрились родиться «на следующий день». Может быть, поэтому мое поколение в отличие от старших нас десятью годами «истинных» шестидесятников восприняло XX съезд не столь драматично. То, что для других было избавлением от кошмара, нам представлялось, как это и было объявлено, *исправлением ошибок*: привычная школьная терминология действовала успокаивающе.

Все сводилось к нарушению грамматических правил: никто не подвергал сомнению саму систему письма.

Мы были последними романтиками эпохи, ибо верили, что она вернется к своим изначальным истокам, напьется живой воды и одарит нас всех той несказанной свободой, о которой она случайно забыла — за недосугом, за неотложностью других, более важных государственных дел.

Расправа с Пастернаком нас поразила, но мы полагали, что этот досадный рецидив связан с извинительной, в общем, малограмотностью наших импульсивных вождей, хотя и совершавших время от времени опустошительные набеги на мирные прибежища муз, но, слава Богу, никого не ставящих к стенке и интенсивно борющихся за мир.

Немного сведущие в истории отечественной словесности, мы могли бы смекнуть, что если власть вступает в конфликт с поэтом, это ужасный знак прежде всего для нее самой.

В 1964 году произошла смена караула — на нашей памяти уже вторая. Целина была поднята, и космос почти покорен, но семидесятилетняя бабушка Акулина, намылившаяся к любимым внучатам в братскую Польшу, по-прежнему удостоверяла в жэке, что она морально устойчива и, значит, не подведет.

Страну нельзя было подводить ни в чем. Шаг вправо, шаг влево считался попыткой к побегу, но в отличие от прежних времен охрана давала предупредительный залп.

Арест Синявского и Даниэля был заявлением о намерениях. В 1966 году стало ясно, что 1968 год с танками в Праге возможен и скорее всего неотвратим.

Что было делать? Не тем, смелейшим из нас, которые и раньше не обольщались относительно происхождения ви-

дов и не принимали Левиафана за золотую рыбку, у которой было трудное детство и которая поэтому вечно обуреваема страхом не попасться на удочку врага. Они-то знали, что исчезнут во чреве. Но большинство — и об этом надо сказать — не было готово к такой судьбе.

То, что было избрано, на первый взгляд казалось вполне пристойным и в то же время не преступающим опасных границ. Рецепт поведения был прост: не участвовать в начальственных играх, не умножать объем зла, быть профессионалом и честно заниматься своим трудом. А там — как Бог даст.

Ибо казалось: царству кесаря не будет конца. И надо было попытаться проникнуть его иным, еще не угашенным духом, дабы придать ему человеческий облик и хоть в малой мере смягчить его солдафонский нрав.

Но дано ли тоталитаризму стать просвещенным?

Герой повести Николая Аржака (Ю. Даниэля) «Искупление» говорит: «Тюрьмы и лагеря не закрыты!.. Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные!.. Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы».

Благородные конформисты, мы полагали, что в состоянии сохранить душу и дистанцироваться от зла. Неисполнимость задачи заключалась, однако, в том, что сами мы были внутренне несвободны.

Сорокалетние Синявский и Даниэль вышли из этого круга, ведая, что творят.

В уже упомянутой повести Абрама Терца «Суд идет» (1956-й!) ее сочинитель вместе со своими героями оказывается на просторах ГУЛАГа: он попадает туда именно за этот текст. Последняя фраза эпилога — «Мы дружно взялись за лопаты» — свидетельствовала как о знании преискуранта, так и о готовности заплатить.

Это провиденциальное знание тем поразительней, что «любая», сугубо «разоблачительная» сторона произведений Аржака и Терца как будто невелика и не идет ни в какое сравнение с нашими сегодняшними мнениями на этот счет. И те, кто, спасая писателей от судебной расправы, указывали на то, что между автором и героем есть известная разница, были абсолютно правы. Как абсолютно правы были и сами обвиняемые, терпеливо осведомлявшие Верховный суд об элементарных законах искусства и превратившие судебные заседания в краткий литературный ликбез.

Однако может ли суд объять необъятное?

Я никогда не поверю, что председательствовавший на суде Л. Н. Смирнов искренне заблуждался относительно истинного характера руководимого им процесса. Высокообразованный правед, вице-председатель Международной ассоциации юристов, он не мог не понимать, что деяния, инкриминируемые подсудимым, не содержат в себе состава преступления, что это средневековый процесс *о мнениях* и что предметом судебного разбирательства является не «антисоветская агитация и пропаганда», а нечто совсем иное.

Сейчас, возвращаясь к материалам процесса, нельзя не изумиться чудовищной негибкости власти, ее нерасчетливости, ее самоубийственной слепоте. Она предпочла завершить это дело и остаться в полном дерьме, нежели поступиться принципами. Ни угроза мирового скандала, ни охлаждение известной части интеллигенции внутри страны — ничто не могло переломить ее генетического упорства.

Нет, государство тоже ведало, что творит! Инстинктом самосохранения, этой бдительностью высшего порядка система почувствовала, что нельзя допускать прецедент. Она злилась свое благополучие на единообразии форм, на непротиворечивости истории, на ритуалах вечно расшаркивающегося перед идеологией искусства. Феномен свободной речи обессмысливал всю эту иерархию и приравнялся к национальной измене.

«Что вы! Что вы! Пустые страхи! Пастернак никому ничем не угрожает. Государство не развалится от десятка-другого изданий... — звучит в написанном уже в эмиграции романе А. Синявского «Спокойной ночи» давний московский разговор. — А как же Польша? При чем тут Польша? Прямая связь! Мы издадим Пастернака, а в Польше на радостях разрешат независимые журналы... Дайте в России свободу творчества — и Польша отложится... За Польшей — Венгрия, Чехословакия... Вы спятили — за Восточной Европой покатысь Прибалтика!.. Украина! Кавказ не за горами... Не-ет, из-за какого-то Пастернака разбазаривать Империю? Вы этого хотите?»

Способность угадки, явленная Синявским и Даниэлем

и в полной мере обнаружившаяся спустя десятилетия, не кажется столь необъяснимой, если вспомнить, что оба писателя даже в своих фантастических допущениях исходили из прекрасно известных им реалий советской жизни. И когда в повести Н. Аржака «Говорит Москва» (1961) при подведении итогов Дня открытых убийств, в течение которого каждый получал законное право рассчитаться с теми, кто лично ему не по душе, выясняется, что наибольшая резня случилась в Нагорном Карабахе, а в Прибалтике, к удивлению, «никого не убили» (какое обстоятельство вызвало понятную озабоченность центра), то эта «устаревшая» информация заставляет нас невольно усмехнуться.

А. Синявский оказался провидцем еще в одном отношении.

Литературовед Зоя Кедрина, коллега Синявского по Институту мировой литературы (ИМЛИ) и на процессе его общественный обвинитель (я не оговорился, читатель), писала в «Литературной газете», что «предельная запутанность формы у Терца служит всего лишь пестрым камуфляжем для его «основополагающих» идей...» (последняя эстетическая подсказка предназначалась инстанциям, которым надлежало сорвать указанный камуфляж). «Нравственная нагота» Абрама Терца, продолжала добровольная помощница правосудия, выступает «в одежде самых различных литературных реминисценций» (нагота, выступающая в одежде!), что обличает автора как лицо, «нагло паразитирующее на литературном наследии».

«Литературное наследие» Синявский действительно знает неплохо. Но, помимо инкриминируемых ему Достоевского и Кафки (к чьим традициям он и впрямь преступно неравнодушен), я бы назвал еще не упомянутых З. Кедриной А. Платонова и М. Зощенко: их уроки, надо думать, тоже не прошли даром.

Внезапные провалы повествовательной логики (вспомним: «Ксизм-сизм-сизм... Pferd!») веселят ум и придают традиционному на первый взгляд повествованию оттенок бурлеска. Не знаю, читали ли Абрама Терца наши тогдашние молодые прозаики, но эти художественные приемы сделались нормой в «молодежной» прозе 60-х годов.

«Нормой» сделалось и другое.

Как прикажете расценить ситуацию, когда скромный велосипедный мастер одной силой психической энергии ввергает в социальное блаженство отдельно взятый город Любимов, заваливая столы колбасой и прочей сказочной снедью? Мало того — обыкновенную воду он преосуществляет в вино (вернее, в чистейший спирт), отчего любимовские жители сделались бы вполне счастливы, если бы не жуткое подозрение, закрывшееся в душу наиболее нежных из них, — почему после *употребления* не наступает ожидаемое похмелье?

Напрасно гуманист-прокурор советовал обвиняемым избрать местом своих фантазий какой-нибудь древний Вавилон. Ибо и в таком случае высокому суду в полном согласии с литературоведом З. Кедриной не составляло бы труда установить, что изображающий, к примеру, вавилонскую блудницу автор «неотделим от той мерзости, в которой пребывают его персонажи».

Отечественная проза 60—80-х годов не воспользовалась мудрым прокурорским советом. Странные вещи стали твориться с ее героями — вовсе не древними вавилонянами, а все больше вполне современными ленинградцами и москвичами. Они то и дело ухали в иное пространство, обнаруживающее при этом подозрительно родные черты; из-под земли начинали бить водочные ключи; уже совершившееся время текло вспять и делало предосудительные зигзаги. Демоны, оборотни и прочая потусторонняя нечисть не без успеха заместили так и не явившегося положительного героя. Наша общая социальная ущербность требовала сублимации — хотя бы в области инфернальных грез.

Возможно, я ошибаюсь, но мне представляется, что ранние опыты Абрама Терца так или иначе соотносятся с позднейшими художественными поисками В. Аксенова и В. Крупина, А. Житинского и В. Орлова, В. Войновича, В. Пьецуха, братьев Стругацких... Во всяком случае, вернувшиеся, наконец, тексты позволяют нащупать такие предметные черты.

Но, пожалуй, лучшее из написанного А. Синявским в эмигрантский период — это сравнительно небольшое эссе «Что такое социалистический реализм».

Сейчас, когда это «странное, режущее ухо сочетание» уже не вызывает тех глубокомысленных споров, которые сопровождали его возникновение и гибель, кажется почти невероятным, что тогда, в 1957 году, в пору своего позднего

мужского расцвета социалистический реализм обрел вдруг в своем собственном верховном святилище (ИМЛИ!) неприемлемого оппонента, который вынес ему приговор столь сокрушительный и справедливый, что ныне, пожалуй, к нему мы не добавим ни слова.

Без нажима, в достойной академической манере автор доказывает, что универсальный метод советской литературы следовало бы именовать социалистическим классицизмом, поскольку он насковзь телеологичен и не может осуществить собственных задач, не впадая при этом в пародию или скуку.

Да, что ни говори, *всего лишь* семь лет лагерей свидетельствовали об исторической усталости власти. Простые труженики требовали наказаний покруче.

Впрочем, не только они.

Еще до начала процесса ряд зарубежных писателей обратились к только что получившему, наконец, Нобелевскую премию по литературе Михаилу Шолохову с призывом «приложить свои добрые усилия» для благоприятного решения дела Синявского и Даниэля. Процесс уже завершился, но среди имен 62 советских писателей, обратившихся к руководству страны с просьбой разрешить им взять осужденных товарищей на поруки (выход, кстати, позволявший правительству сохранить лицо), имя Шолохова не значилось.

Классик нарушил молчание на открывшемся вскоре после процесса XXIII съезде КПСС. Под бурные аплодисменты присутствующих он поведал об охватившем его стыде — нет, не в связи с произнесенным над коллегами приговором, — а потому, что в здоровом писательском коллективе отыскались слюнтяи, пролившие по этому поводу несанкционированную слезу. Певец «Тихого Дона» задумчиво спросил делегатов от «родной Советской Армии», как поступили бы они, если бы в их боевых рядах оказались предатели (Можно предположить, что вопрошающий догадывался об ответе.) «Попадись эти молодчики с черной совестью, — вдохновенно продолжал оратор, — в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием» (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни (аплодисменты)».

В те дни, когда еще длился суд, в газете «Вашингтон пост» появилась статья американского сатирика Арта Бухвальда «Просьба о помиловании». Автор пекся вовсе не о Синявском и Даниэле, чья последующая реабилитация не вызвала у него сомнений («они будут отпущены... и в придачу им будет дана дача в пригороде»), его беспокоила участь их обвинителей и судей. Он просил будущих вершителей закона проявить максимум милосердия и дать этим людям не более 4—5 лет, а литераторов, помогавших суду на добровольных началах, проявив снисхождение, исключить из Союза писателей. Интересно, какую исправительную меру избрал бы американский шутник в отношении Нобелевского лауреата?

(Замечу в скобках, что, когда позднее в очередной раз выплывал вопрос о подлинном авторе «Тихого Дона», наши сомнения, скорее всего, вовсе не основательные, сильно подкреплялись этой незабываемой речью. Убежденные со школьной скамьи в несомненности гения и злодейства, мы не могли допустить унижения первого и склонны были объяснить происшествие тайной подменой.)

Российское правосудие знает примеры, когда граждане не могли сдержать собственных чувств. 31 марта 1878 года зала Петербургского окружного суда была потрясена неистовыми рукоплесканиями: так русская публика ответила на вердикт присяжных, *оправдавших* Веру Засулич. Как далеко ушли мы, однако, в наших понятиях о зле и добре!

Если бы не ходившее по рукам письмо Лидии Корнеевны Чуковской, которая нашла в себе мужество напомнить любимцу народа, что это единственный в анналах русской культуры пример, когда требуют не «милости к падшим», а, напротив, ужесточения казни, если бы не этот спасительный для общей совести документ, кто бы сегодня мог убедительно доказать, что не все в этой стране разделяли энтузиазм кремлевского зала?

Я думаю о природе этих оваций. Я вспоминаю наши недавние съезды — с их хлопом, топом, гиканьем и свистом — и смею предположить, что в данном случае явил себя тот же менталитет.

Нетерпимость — наша родовая черта.

Андрею Синявскому крупно повезло, что «Прогулки с Пушкиным» он сочинил в Дубровлаге (и переправил на

Следует заметить, что ни Синявский, ни Даниэль не реабилитированы по сей день.

волю в виде посланий к жене при эстетическом нейтралитете цензуры), а, скажем, накануне посадки. Трудно представить подарок для следствия более драгоценный.

Действительно, можно ли не приобщить к делу: «На тонких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох».

Абрам Терц рассматривает эту гипотетическую возможность как бы в обратной перспективе. В романе «Спокойной ночи» он вкладывает в уста воображаемого следователя: «Вы почему нашему Пушкину приписали тонкие ножки? Откуда вы знаете, какие у него были ноги? Вы что, с ним в бане мылись? Да после таких слов вы просто второй Дантес!»

Еще одно предсказание сбылось — правда, на сей раз в виде фарса. Пресса эпохи гласности наполнилась бранью. Никто практически не читал «Прогулок» (несколько страниц, напечатанных в «Октябре», в счет не идут), однако как и тогда, в 1966-м, читатели (но большей частью писатели) грудью встали за честь страны.

Общий спортивный интерес не умалялся оттого, что большинство слабо представляло, о чем, собственно, кипит спор.

Тем не менее симпатии разделились. Одни брали сторону Пушкина (что всегда благородно), другие робко пытались найти смягчающие обстоятельства для его новоявленного врага. Теперь, когда, слава Богу, можно обозреть текст («Прогулки» полностью печатаются в журнале «Вопросы литературы»), изумленная публика имеет возможность убедиться, что ни тот, ни другой не нуждается в защите.

«Прогулки» Синяевского (вернее, его литературного двойника — Абрама Терца, что в данном случае немаловажно) — это именно *прогулки*, то есть для «серьезной» науки — вовсе не обязательный жанр. Жанр этот личностен и интимен, он предполагает взаимную склонность прогуливающих (именно взаимную, так как, скажем, Лев Толстой вряд ли бы взял себе подобного автора в спутники), он диктует свои правила беседы — от грустных медитативных признаний до легкой язвительной болтовни.

Цитировать «Прогулки с Пушкиным» — занятие бессмысленное. Этот текст неразложим на фрагменты: он существует только как целое и больше никак.

Заблуждение спорящих состоит, мне кажется, в том, что они поддались невольной аберрации слуха. Лукавая проза была принята за безулыбчивый ученый трактат. А ведь, помнится, нас предупреждали, что художника должно судить по законам, им самим над собою признанным. «Пушкин» Абрама Терца — это, конечно, не «Пушкин» Пиксанова, Бонди или Благого: с него (как и с автора) иной спрос.

«Прогулки с Пушкиным» — это сугубо лирическое событие, в пределах которого важна не только энергия «чистой» мысли, но еще более ее эстетический результат. Цель доказательств замыкается мгновенной интеллектуальной догадкой, а сами они вдруг обнаруживают свою подспудную художественную природу. Объяснение (объяснение *в любви*) совершается с помощью парадоксов: неужели бы гений («парадоксов друг!») со строгостью школьного учителя отверг эту выдающую тайный трепет попытку?

Кстати, о школе... Право, я бы настоятельно рекомендовал старшеклассникам терцевские «Прогулки» (разумеется, для внеклассного чтения). Они вызывают на спор и провоцируют юную мысль. Нашим бедным детям, не ведающим про «веселое имя Пушкин», эта книга открыла бы нечто сверх учебных программ. Скажут: не рано ли? Не опасно ли? Неустоявшийся вкус и т. д. и т. п. Ответу: наши дети не идиоты, и, полагаю, они не станут раздирать на шпаргалки автора «неформала» (для этой цели есть много иных прекрасных трудов). «Прогулки» пригодились бы им исключительно для собственного удовольствия — для ощущения многоликости духа, его вечной насмешливости, его мировой игры...

Разумеется, Пушкин не Хлестаков — и предпосланный книге эпиграф («Ну, что, брат Пушкин?» — «Да так, брат...» и т. д.), вроде бы толкуя о сходстве, «живет с разницей». Как хохотал бы, однако, податель сюжета над этим нелестным сближением! Уж он-то, привывший столько обличий, догадывался о бесконечном протезизме певца, вместившего в себя весь мир. И если «Пушкин наше всё», то это следует понимать буквально.

«...Двенадцатый год, — говорит Д. И. Писарев, — сделался для нас неисчерпаемым источником самовосхваления и заменю всех добродетелей. Толкуют нам о взятках, а мы вспоминаем двенадцатый год... говорят о движении идей —

мы сейчас же к двенадцатому году и к Пушкину...»

Именно канонизированный и эмблематичный Пушкин как нельзя лучше приспособлен для целей корыстных, охранительных — прикладных.

В то же время можно понять не приемлющих книгу А. Синяевского и даже осудивших ее. Само собою, речь не о тех, для кого «Прогулки» стали уголовной уликой в их нелегкой гражданской борьбе (сконструированный ими Синяевский-руссофоб имеет такое же отношение к реальности, как, скажем, Синяевский-эфиопофоб). Речь идет об оппонентах серьезных, отмеченных дарованием и судьбой.

Еще задолго до появления «Прогулок» Варлам Шаламов в «Письме старому другу» замечал: «Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска или научной фантастики. Но ни Синяевский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском, и фантастикой».

Эти слова многое проясняют.

Существует (и всегда будет существовать) сосредоточенно-серьезное отношение к культуре, не допускающее ни фамильярности, ни панибратства, всегда помнящее о служении, молитве, посте и долге. Подобное миропонимание может превалировать не только у таких выстрадавших его людей, как А. Солженицын или В. Шаламов. Оно в конце концов зависит от многих причин. Книга А. Синяевского вряд ли может вписаться в эту систему координат. Но в культуру ведет не только торжественный и суровый храмовый вход. Не забудем про маленькую волшебную дверь в стене. Монументальность искусства не отменяет игры — экспромта, эксперимента, художественного озорства (Пушкин, например, чувствовал себя как рыба в воде в разных культурных стихиях). Культура, если она культура, не страшится самоиронии — вернейшего признака, что культура еще жива.

Подозреваю, что, когда «небеллетристические» книги А. Синяевского (в том числе его блестящие эссе о Гоголе и Розанове) выйдут на родине их автора, они сильно повлияют на наши литературоведческие дела. С горечью вспомнится, что в этой области совсем нелишен литературный талант.

...Вал эмигрантской литературы, созданной на чужбине за последние семьдесят лет, сомкнулся с валом старых российских книг, забытых в своей отчизне и теперь возвращаемых из (их или нашего?) небытия. С наивностью неопитов мы полагаем, что теперь-то мы живо освоим это богатство, а значит, станем чище, духовнее и мудрей.

Однако это не так. Нация не только *поглощает* литературу, она медленно *переживает* ее. Процесс усвоения долгов, и судорожное глотание томов не гарантирует ни очищения, ни скорых прозрений. В начале века Россия имела блистательную литературу, но это никого не спасло.

В нашей общественной практике роль книги часто выполняет поступок. Он спешествует нашему духовному воспитанию, пожалуй, быстрее и радикальнее, чем иной чудесный роман. Если образ действий писателя совпадает с духом его писаний — это свидетельствует в пользу литературы.

Ни Синяевский, ни Даниэль не признали себя виновными, нарушив, как было тогда же замечено, «отвратительную традицию «раскаяния» и «признаний».

«Нужно помнить, — писал В. Шаламов, — что Синяевский и Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен».

Бесспорно также и то, что этот поступок не прошел даром. Больше у нас в стране, несмотря на сильные искушения, метафору не осмеливались подвергать государственно-му суду.

Хотя жизнь и метафора жизни (то есть литература) были уравнены в цене.

Боратынскому принадлежат строки:

Что наконец поймет надменный ум  
На высоте всех опытов и дум,  
Что? — точный смысл народной поговорки.

В «Голосе из хора» Андрей Синяевский, прилежный собиратель лагерного фольклора, приводит одну из них:

«Кто не рискует — тот в тюрьме не сидит».